

ДРЯХЛЫЙ ВОСТОК И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

А.В. Пименов

Журнал "Мир России" предлагает Вашему вниманию второй раздел исследования, посвященного сравнительному анализу двух феноменов: "Восточной деспотии" и тоталитарных обществ XX века, прежде всего, России (первый раздел опубликован в журнале "Мир России" №1-2, 1999 г.) Продолжение публикации см. в следующих номерах.

Представление о "Древнем Востоке" как о регионе и вместе с тем стадии всемирного исторического развития давно укоренилось в европейской традиции. В начале столетия исследователям пришлось взглянуть на эту проблему с новой стороны: архаичные формы социальной организации возрождались, иногда — в неожиданной форме. Восточные мотивы сыграли немаловажную роль в коммунистическом движении. Насколько это осознавали его основоположники!

*Легко вонзятся в небо пики,
Чуть заскрежещут стремена,
И кто-то двинет жестом диким Твои,
Россия, племена.
...Они и в зной, и в непогоду,
Телами засытая рвы,
Несли желанную свободу
Из белокаменной Москвы.
...Очнись, блаженная Европа,
Стряхни покой с красивых век.
Страшнее труса и потопа
Далекой Азии набег.
(А.В. Эйснер. "Конница")*

«Клеветник» Виттфогель и «азиат» Ленин

В романе Лиона Фейхтвангера «Изгнание» есть примечательный эпизод. Композитор Йозеф Траутвейн, эмигрант-антифашист, пишет музыку к «Персам» Эсхила. Древность сюжета оттеняет сугубо современную коллизию: маленькая свободолюбивая Греция (демократические силы) противостоит громоздкой державе Ксеркса (гитлеровскому рейху). Друзья композитора не могут, однако, скрыть своего недовольства: сопоставление древней персидской цивилизации с дикарями XX века они воспринимают как кощунство.

Нет нужды объяснять, что Траутвейн — это сам Фейхтвангер, с его методом исторических аллюзий. Автор «Еврея Зюсса» и «Иудейской войны» оставался верен ему, не страшась однообразия; упреки в модернизации истории,

А.В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

нередко раздававшиеся в его адрес, стали в конце концов общим местом. Это не сделало их, однако, более справедливыми. Бесчисленные анахронизмы, разбросанные по романам, которыми когда-то зачитывались советские интеллигенты, — все эти «генералы» и «фабриканты», населяющие древний Рим, Веспасианы и Лже-Нероны с манерами немецких обывателей — вовсе не призваны продемонстрировать, что в античном мире все было «как у нас». Это не модернизация, а, так сказать, историзм наизнанку: сатирический прием — сильный, хотя и незамысловатый. Отодвинуть антигероев в далекое прошлое значит отказать им в праве на существование сегодня.

Персы же действительно оказались неподатливым материалом для карикатуры. Они-то по праву заняли свою ступень на исторической лестнице. Нацисты же, с их «прорывом к почве», — самозванцы в истории. Здесь-то и кроется причина раздражения: изгнанники не хотят расстаться с надеждой. Если аналогия верна, то и гитлеровский рейх по-своему правомерен. Варварское прошлое воскресло всерьез и надолго. Провал в архаику может оказаться необратимым.

За спором о персах нельзя не различить другой, более драматической дискуссии: о либеральном понимании исторического прогресса. Именно оно оказывается под вопросом. Одно дело, если мы просто отстали, двигаясь в правильном направлении. Тогда вопрос лишь в том, чтобы определить, сколько еще предстоит пройти. И совсем другое — если точно вычисленный курс привел нас совсем не туда, куда мы стремились. Не страшно, если историческое время течет медленно, но всегда в одну сторону — от персов к современности. Страшно, если общество будущего живет по законам сатрапии.

Если кто-то и может с этим смириться, то никак не изгнанник, ловящий в сводках новостей малейшие проблески надежды. Потому-то герой Фейхтвангера оставляет персов в покое и обращается к родной, немецкой истории: к Вальтеру фон дер Фогельвайде, миннезингеру XIII столетия. Композитор вдохновляется средневековой вольницей, и прошлое вновь из тяжелой ноши превращается в духовную опору.

Фейхтвангер и Виттфогель были товарищами по антифашистской эмиграции, и уже одно лишь это определяло сходство их духовным поисков. Но многое и разделяло их. Виттфогель исследовал не только гитлеризм, но в первую очередь советскую систему, варварского облика которой Фейхтвангер по разным причинам попытался не заметить. Кроме того, создатель «водяной теории» поставил перед собой более сложную задачу: не только и не столько заклеить, сколько понять природу явления.

Трудности, стоявшие на его пути, Виттфогель сознавал намного лучше, чем это изображали его позднейшие советские оппоненты. Главной среди них стала проблема исторической преемственности. «Клеветник» весьма осторожен в выводах — и прежде всего, когда дело касается черт, объединяющих восточные деспотии и коммунистическую партократию. Конечно, ему ясна общая природа «тотальной власти». Но не это определяет его разоблачительный пафос: Виттфогеля занимает прежде всего замалчивание (*Verstummlung*) марксистами неудобных аналогий, наведение тени на ясный день. От марксовской концепции азиатского способа производства — к вариациям Энгельса на темы родового строя, из которого будто бы рождается античная рабовладельческая формация, от споров между Лениным и Плехановым о характере русского докапиталистического об-

щества — к ленинскому выводу о феодализме в России, и, наконец, от дискуссий двадцатых годов — к учению о «рабовладении» на Востоке и запрету всяких дискуссий при Сталине — вот вехи этой эволюции, сущность которой для Виттфогеля очевидна: затемнение исторической правды.

К такому выводу нельзя не прислушаться, но трудно и счесть его во всех случаях бесспорным. Одно дело ручные востоковеды «реального социализма» и несколько другое — Энгельс и социал-демократы. Все же главным героем в этой драме идей неизбежно оказывается тот, кому пришлось воплощать идеи в жизнь, т.е. В.И. Ленин. Виттфогель подробно описывает взгляды Ленина на восточное общество. И, разумеется, не обходит его представлений о «новой тотальной власти», на вершине которой ему в конце концов не нашлось места. Правда, та их трактовка, которую предлагает Виттфогель, далеко не бесспорна. Вот как оценил ее, например, Ю.И. Семенов: «К. Виттфогель утверждает, что В.И. Ленин допускал возможность «азиатской реставрации» [после победы революции — А.П.] и опасался ее... Вряд ли с этим можно согласиться. Детальный анализ работ В.И. Ленина показывает, что возможности политарного классового образования в Советской России он совершенно не учитывал» (1, с.51).

Здесь следует, по-видимому, говорить не столько об ошибке, сколько о более сложном явлении: о взаимоотношениях автора и персонажа — Виттфогеля и Ленина. Они, разумеется, расходились во взглядах на большевистскую революцию. Зато природу восточного общества понимали сходным образом. Не приходится удивляться тому, что Виттфогель относился к Ленину резко критически. Примечательно другое: настоящая пропасть между ними обнаруживается в тех случаях, когда они должны, казалось бы, согласиться друг с другом. Тут в который раз оказывалось, что исследователь мифа и его носитель не могут говорить на одном языке.

О патриархальности и азиатчине как источниках всех бед советской власти Ленин настойчиво твердит в своих последних статьях и письмах. Государственный аппарат — «ровно никуда не годится и полностью унаследован нами от прежней эпохи» (2, с.376).

Культура — «речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор» (2, с.364).

Торговля — «крестьянин торгует сейчас по-азиатски, а для того, чтобы уметь быть торгашом, надо торговать по-европейски. От этого нас отделяет целая эпоха» (2, с.373).

Казалось бы, что может возразить на это непримиримый противник коммунизма и теоретик азиатской формации? Вот как оценивает он, однако, жалобы большевистского лидера: «То, почему Ленин между 1921 и 1923 годами говорил о новой бюрократии в тех же выражениях, которые применялись марксистами для обозначения восточной деспотии, объясняется стечением обстоятельств. Именно оно предопределило ссылки Ленина на «полуазиатское бескультурье страны и «азиатский» способ вести торговлю, характерный для русских крестьян. Но, несмотря на это, его утверждение, что аппаратчики нового государства создают не что иное, как новое издание старой русской азиатчины, было неверным по существу... Оно основывалось на недооценке экономической настроенности, присущей людям из нового аппарата. Эти люди не могли удовлетворяться возможностью господствовать над миром крестьян и ремесленников. Они знали возможности современной индустрии.

А.В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

И пошли по пути, предначертанному в квазирелигиозных социалистических предсказаниях, которые они и стремились претворить в жизнь: сначала — в рамках раннего максимума продуктов, а с момента принятия первого пятилетнего плана — в значительно большем масштабе» (3, с.544).

Книга Виттфогеля — в равной степени научное исследование и памфлет. Поэтому его рассуждения уместно сравнить с поведением следователя, который, разоблачив подозреваемого и услышав чистосердечное признание, неожиданно обвиняет его в совершенно ином преступлении. Конечно, аргументы Виттфогеля понятны. Азиатское общество, с его точки зрения, — это непременно сельское общество. Индустриализация и уничтожение крестьянства в его схему не вписывались.

Даже маоистский Китай, сохранивший крестьянскую основу в несравненно большей степени, нежели большевистская Россия, Виттфогель отказывался рассматривать как новое издание азиатского деспотизма.

Ведь и в Китае успех коммунистов целиком и полностью определялся ходом индустриализации. «Если бы Мао Цзэ-дун, — объясняет Виттфогель, — стал рассматривать свою опору на деревню как перманентную и принципиальную, а не как временную стратегическую меру, то он был бы не еретиком-коммунистом, а просто дураком. Его можно было бы сравнить с человеком, предпочитающим палку ружью лишь по той причине, что когда-то в лесу она была его единственным оружием... Но Мао — не дурак. Он и его последователи никогда не рассматривали себя в качестве вождей крестьянской партии, чьи действия и интересы определяются деревней и ей же ограничиваются» (3, с.547).

Незамеченный Виттфогелем парадокс состоял в том, что, обличая азиатчину, Ленин одновременно связывал с ней свои надежды. Именно «пробуждение Востока» он косвенно противопоставлял советской партократии, вытолкнувшей его самого, и совершенно недвусмысленно — Западу, где перспективы революции становились все более сомнительными.

«Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай и т.п. составляют гигантское большинство населения (мира). Это большинство втягивается в борьбу за свое освобождение, и в этом смысле не может быть сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена» (2, с.402).

Конечно, Ленин тут же оговаривается, что «их развитие направилось окончательно по общеевропейскому капиталистическому пути», но тут же и поясняет смысл этой оговорки: движение по европейскому пути означает лишь, что восточные страны «втянулись в такое развитие, которое не может не привести к кризису всего всемирного капитализма» (2, с.402).

Разумеется, в двадцатых годах Ленин заговорил о Востоке не впервые. О «пробуждении Азии», о борьбе против «англо-русских порядков» в Индии, о Тилаке и Сунь Ятсене он писал еще в начале своего политического пути. Но акценты расставлял по-другому. Конечно, Ленин и тогда не упускал случая побранить капиталистическую Европу, однако лейтмотив его рассуждений был иным. «Не значит ли это [развитие освободительного движения в Индии и Китае — А.П.], что сгнил материалистический Запад и что свет светит только с мистического, религиозного Востока? Нет, как раз наоборот. Это значит, что Восток окончательно стал на дорожку Запада, что *новые сотни и сотни миллионов людей* примут отныне участие в борьбе за идеалы, до которых доработался Запад» (4, с.402).

Революция произойдет, таким образом, по западному сценарию — Восток лишь поставит для нее человеческий материал. Ленин рассуждал как западник — и притом весьма прямолинейный. Неудивительно, что даже сегодня мало кто сомневается в том, что «западничество» — духовная основа и большевистского мировоззрения в целом, и ленинских взглядов, в частности (5, с.57-58).

Однако, коль скоро речь идет о Ленине и большевиках, по достоинству оценить их «западничество» можно лишь в связи с главной темой — мировой революцией. Одно дело, если Запад — действительно ее авангард. А если нет? Тогда «пробуждающийся Восток» неминуемо начинает играть ведущую роль хотя бы потому, что опережает Запад в борьбе за идеалы, до которых тот «доработался».

Ведь европейских социал-демократов Ленин критикует именно за европоцентризм. «Они видели до сих пор определенный путь развития капитализма и буржуазной демократии в Европе... Им не приходит даже в голову, что Россия, стоящая на границе стран цивилизованных и стран, втягиваемых в цивилизацию [курсив мой — А.П.], стран всего Востока, стран внеевропейских должна была явить некоторые своеобразия... Нашим европейским мешанам и не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им больше своеобразия, чем русская революция» (2, с.379-381).

Однако и отношение Ленина к самой западной цивилизации в эти годы, мягко говоря, противоречиво. Причина тому, на первый взгляд, лежит на поверхности: это глубокий упадок буржуазных демократий — и политический, и интеллектуальный.

Вот как рассуждал о нем Ленин на IV конгрессе Коминтерна; «Возьмите, например, договор с Колчаком, заключенный Америкой, Англией, Францией, Японией. Я спрашиваю вас: имеются ли более просвещенные и могущественные державы в мире? И что же случилось? Они обещали Колчаку помощь, не сделав подсчета, не размышляя, не наблюдая. Это было фиаско, которое, по-моему, трудно понять даже с точки зрения человеческого рассудка... Или другой пример, еще более близкий и более важный: Версальский мир. Что сделали здесь «великие», «покрытые славой» державы? Как могут они теперь найти выход из этого хаоса и бессмыслицы?... Наши глупости еще ничто по сравнению с теми глупостями, которые совершают вкупе капиталистические государства, капиталистический мир и II Интернационал. Поэтому... перспективы мировой революции... — благоприятны... Они [иностранцы коммунисты — А.П.] должны воспринять часть русского опыта. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они еще недостаточно просвещены и что их страна не гарантирована от черной сотни. Может быть, это будет очень полезно» (2, с.292-293).

В самом деле, трудно найти более убедительные доводы против «низкопоклонства перед Западом». Правда, наряду с империалистическими западными державами, Ленин называет Японию. Но это, как выразился бы Виттфогель, как раз легко объясняется «обстоятельствами». Гораздо более существенно то, что на пороге смерти вождь большевиков усматривает корень многих политических зол именно в западном влиянии: «...Мы успели заразиться от западноевропейской государственности, при всем революционном отношении к ней, целым рядом вреднейших и смешнейших предрассудков» (2, с.399).

Эти «смешнейшие» предрассудки имеют, по Ленину, вполне серьезный по-

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

литический смысл: «А отчасти нас умышленно заразили этим наши милые бюрократы, не без умысла спекулируя на том, что в мутной воде подобных предрассудков им неоднократно удастся ловить рыбу; и лавливали они эту рыбу в этой мутной воде до такой степени, что только слепые из нас не видели, как широко эта ловля практиковалась [курсив мой — А.П.]» (2, с.397-398).

Итак, зловредный государственный аппарат, источник бюрократизма — не только «унаследован от предыдущей эпохи». Он еще и результат западного влияния. И это тоже обуславливает ленинский «поворот к Востоку».

Сущность этого поворота Ленин объясняет очень точно. «Удастся ли нам... продержаться, пока западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социализму? Но они **завершают его не так, как мы ожидали раньше. Они завершают его неравномерным вызреванием в них социализма, а путем эксплуатации одних государств другими** [жирный курсив мой — А.П.]... А Восток, с другой стороны, пришел окончательно в революционное движение именно в силу этой первой империалистической войны и окончательно втянулся в обций круговорот всемирного революционного движения [курсив мой — А.П.]» (2, с.403).

Отсюда и конкретные политические шаги — прежде всего в национальном вопросе. Защита Лениным интернационализма в «грузинском деле», все его инвективы по адресу великодержавных шовинистов и на «обрусевших инородцев, переселивающихся по части истинно русского настроения», — все это было вызвано не только борьбой в верхах, но также и далеко не одними лишь мотивами «дружбы народов». Речь шла о главном — о предстоящей последней схватке с Западом: «Вред, который может проистечь для нашего государства от отсутствия объединенных аппаратов национальных с аппаратом русским, неизмеримо меньше, бесконечно меньше, чем тот вред, который проистечет не только для нас, но и для всего Интернационала, для сотен миллионов народов Азии, которой предстоит выступить на исторической авансцене в ближайшем будущем, вслед за нами. Было бы непростительным оппортунизмом, если бы мы накануне этого выступления Востока и в начале его пробуждения подрывали свой авторитет среди него малейшей хотя бы грубостью и несправедливостью по отношению к нашим собственным инородцам. Одно дело необходимость сплочения против империалистов Запада, защищающих капиталистический мир... Другое дело, когда мы сами попадаем... в империалистические отношения к угнетаемым народностям, ...подрывая этим свою принципиальную защиту борьбы с империализмом. А завтрашний день во всемирной истории будет именно таким днем, когда окончательно проснутся пробужденные империализмом народы и когда начнется решительный долгий и тяжелый бой за их освобождение [курсив мой — А.П.]» (2, с.362).

Это изменение во взглядах на мировую революцию не прошло незамеченным. Вот как оценил его, например, Н.В. Валентинов, приведя слова Ленина об «инородцах» и «борьбе с империализмом» в работе, написанной в 1958-1959 г.г.: «Вместо ссылки на социалистическую революцию в передовых капиталистических странах Ленин выдвигает революцию в таких отсталых восточных странах, как Индия, Китай... Сравнивая с тем, что раньше писал и говорил Ленин о мировой революции, можно определить, сколь велика переделка, которой подверглась у него эта идея. Взор от Запада начал поворачиваться к Востоку...» (6, с.69).

«Переделка», о которой говорит Н.В. Валентинов, представляет собой нечто значительно более важное, чем просто изменение политической ориентации или поиск новых союзников. Сама идея мировой революции рассматривается теперь,

по существу, вне связи со старым марксистским арсеналом идей, со всеми его «производственными отношениями», не говоря уже о «производительных силах». Ставка делается не на борьбу в капиталистическом обществе, где отныне «одни государства эксплуатируют другие», а с полной откровенностью — на общества архаические, которые еще недавно в «социалистическом» контексте и поминать-то было неудобно. С «переделкой» же свобода маневра в выборе союзников возрастала стремительно. Ситуация, однако, не становилась от этого проще. Ведь страны, «втягиваемые в цивилизацию», неминуемо должны были являть еще большее «разнообразие социальных условий» — по сравнению с Западом — нежели «полуазиатская» Россия. Мало было «повернуться» к ним — важно было еще сделать так, чтобы «пробудившись» к антиколониальной борьбе, они вступили в нее под советским руководством.

Ленина, как обычно, интересовала практическая сторона дела. Высказав действительно революционную (для марксистской традиции) мысль, что страны, где сосредоточено большинство населения, вступили в борьбу, а стало быть, конечная победа социализма обеспечена, он сделал затем важную оговорку. «Нам, — уточнил он, — интересна не эта неизбежность окончательной победы социализма. Нам интересна та тактика, которой должны держаться мы... чтобы помешать западноевропейским контрреволюционным государствам раздавить нас» (2, с.404).

Тут-то и обнаруживается главное противоречие, не замеченное Виттфогелем: в ситуации мирового пожара «азиатчина» для Ленина — спасение; только в материальном, бытовом, техническом аспекте она воспринимается как досадное родимое пятно. Да, в «полуазиатской» России, как и на «настоящем» Востоке — «не хватает цивилизации». С Востока шли и надежды, и гибель. Ленин, по-видимому, не видел здесь парадокса, да и было ему, вероятно, не до того. Интереснее другое: и он, и его соратники-тюремщики уже находились в поле восточного общества, и не западные силовые линии управляли их поступками. Но осознать это было для них тем труднее, чем мощнее становилось это неведомое им воздействие. Да и то «замалчивание», о котором писал Виттфогель, не прошло даром: большевики сами лишили себя понятийного аппарата, которым их традиция когда-то располагала и который некоторым из них очень пригодился бы теперь. Они не слышали, какой прозой говорили: историческая дистанция, отделявшая их от фараонов и Чингисхана, стремительно приближалась к нулю.

Потерянный и возвращенный рай

*Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,
Что ленинское-сталинское слово —
Воздушно-океанская подкова,
И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,
И пращурь нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.
(О.Э. Мандельштам)*

Примечательно, что почти аналогичный путь с запада на восток задолго до Ленина проделали те самые классики, с которыми он так любил "посоветоваться". И здесь между Марксом, защищавшим тезис об азиатском способе производ-

А. В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

ства, и отбросившим его Энгельсом не было, пожалуй, существенных различий. Эпоха восточных утопий в то время как раз подошла к концу. Последняя из трех — индийская — была достоянием лингвистов и запоздалых романтиков, а потому никогда не могла изжить черт эзотеризма. В глазах же широкой публики варварство было нераздельно связано с Востоком. «Восточный деспотизм» дополнялся коварством того же происхождения.

*...Не удар открытый в открытом бою,
А лукавые козни, коварство, —
Сломило, подкравшись, силу мою
Калмыков западных царство! (7, с. 524)*

Так начиналось «Прощальное слово «Новой рейнской газеты» — знаменитое стихотворение, написанное в 1849 г. Фердинандом Фрайлигратом. Один из самых знаменитых поэтов тогдашней Германии, друг Маркса и участник революции 1848 г., не находит для деятелей европейской реакции худшего определения, чем «калмыки», точнее, «грязные калмыки». (В русском переводе Михаила Зенкевича исчез эпитет «грязные»; здесь враги революции стали просто «калмыками».*)

Конечно, подобно тому, как сама азиатская палитра не исчерпывалась калмыками, обращение к ней не всегда диктовалось обличительными целями. Маркса восточное общество интересовало само по себе: как давно перевернутая страница истории и вместе с тем как современная проблема. О переплетении этих двух мотивов можно судить по его статьям 1853 г. о британском владычестве в Индии.

Наследие романтизма оставило на них свой отпечаток: как и подобает немецкому интеллектуалу того времени, Маркс не скупится на выражения восторга по поводу индийской цивилизации, но относится к ней при этом очень свободно — тоже в духе времени. Он называет Индию «колыбелью наших языков» и «наших религий», утверждая заодно, что она «в джате дает нам тип древнего германца, а в брамине — тип древнего грека» (8, с.315).

Эти признания лишь оттеняют, однако, смысл последующих рассуждений, значительно более суровых по отношению к Индии. Маркс переходит к главному — какую ступень в исторической иерархии занимает Южная Азия?

И тут решающими оказываются совсем другие характеристики — «эгоизм варваров», «лишенная достоинства пассивная и растительная жизнь», «клеймо кастовых различий» и «грубый культ природы». Поэтому Маркс не жалеет красок, чтобы показать: сожалеть о разрушении этого общества не приходится — особенно когда дело касается общечеловеческого (т.е. в первую очередь европейского) движения к социальной революции. «Вопрос, — уточняет он, — в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальном состоянии Азии?» (8, с.309).

Конечно, в данном случае речь идет только о том, как свое общечеловеческое назначение выполняет Англия. Здесь Маркс далек от восторга. Он, разумеется, вовсе не апологет британского колониализма. Однако за знаменитым описанием

* Ср: Kein offener Hieb in offener Schlacht
Es fallen die Nuecken und Tuecken.
Es faellt mich die schleichende Niedertracht
Der schmutzigen Westkalmuecken! (7, с.525)

голода, вызванного экспансией английского текстиля, следует не менее знаменитый вывод: «Лишь после того, как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи... и подчинит их контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному идолу, который не желал пить нектар иначе, чем из черепа убитого» (8, с.316).

Слова о «социальной революции» обычно истолковываются как указание на «цену прогресса». Но примечательно и другое: как понимается сам прогресс. Свою точку зрения основатель «научного социализма» выразил недвусмысленно: это установление контроля, и осуществлять его должен не кто-нибудь, а «наиболее передовые народы». Спасение от колониализма придет из метрополии.

Разумеется, рассуждая так, Маркс всего лишь шел в ногу с веком. В те времена в Европе по-иному и не рассуждали. Важно то, насколько самоочевидно было для него, что революция — дело исключительно «наиболее передовых народов».

Индия, однако, приносила вождям Интернационала значительно меньше хлопот, чем Россия. Русское самодержавие стояло на пути европейских революций, а русские революционеры претендовали на свое место в кругу «наиболее передовых народов». И настаивали на том, что от желанной революции их отделяет меньшее расстояние, чем европейцев.

Это-то и возмущало Маркса и его коллег. Вот что писал в 1875 г. Фридрих Энгельс, отвечая на уверения Петра Ткачева в приближении русской революции и в блестящих перспективах крестьянского общинного социализма: «Переворот, к которому стремится современный социализм, состоит... в победе пролетариата над буржуазией... для этого необходимо наличие не только пролетариата, который совершит этот переворот, но и буржуазии, в руках которой общественные производительные силы достигают такого развития, когда становится возможным окончательное уничтожение классовых различий. У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ» (9, с.39-40).

Итак, не обольщайтесь отсутствием буржуазии и «язвы пролетарства»: любые дикари могут похвастаться тем же самым. Не больше сочувствия вызывает у Энгельса и апелляция к социалистическому характеру крестьянской общины: «Общинная собственность русских крестьян была открыта в 1845 г. прусским правительственным советником Гакстгаузеном, и он раструбил о ней на весь мир как о чем-то совершенно изумительном... в действительности общинную собственность на землю... мы находим на низкой ступени развития у всех индоевропейских народов от Индии до Ирландии...» (9, с.39-40).

Общинная собственность не имеет никакого отношения к грядущему социализму. Самое большее, что готов признать Энгельс: русское крестьянство сможет в будущем миновать частнособственническую, парцелльную стадию развития, но лишь в том случае, если социальная революция на Западе придет ему на помощь.

Вряд ли сегодня можно сказать что-либо новое по существу этого давнего спора. Едва ли можно назвать и победителя. Давно нет на свете ни русской общины, ни революционного европейского пролетариата. Да и сами революции опрокинули все возможные рецепты и прогнозы. Как всегда в истории, значение сохранило лишь одно — детали.

А. В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

Зато они действительно красноречивы. Ведь Энгельс, в сущности, во многом согласен со своим русским оппонентом. Он хорошо (несмотря на некоторые курьезные промахи) осведомлен в российской политической ситуации и вообще весьма объективно оценивает перспективы революции в России. В его рассуждениях интересно другое: поразительное неприкрытое высокомерие. Он видит революционность русского крестьянства, но для него невозможна мысль, будто она того же сорта, что и у немецких рабочих. Особенно забавляют Энгельса ссылки Ткачева на протест крестьян «против рабства в форме «...религиозных сект... отказа от уплаты податей... разбойничьих шаек». «Немецкие рабочие, — Энгельс, как обычно, не отказывает себе в удовольствии пошутить, — могут поздравить себя с тем, что Ганс-живодер оказывается отцом германской социал-демократии» (9, с.48).

Но проходит всего семь лет (и двадцать девять — с того момента, когда были написаны статьи Маркса об Индии), и сам тон Энгельса меняется. «Россия, — уверяет он теперь, — представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе». Более того, Энгельс теперь задает вопрос, саму возможность которого он в такой издевательской форме отвергал прежде: «Может ли русская община... непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму землевладения?». И не видит в этом ничего невозможного, «если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе» (8, с.4).

Чем объяснить такой резкий поворот? Не тем, скорее всего, что взгляды Энгельса на русскую общину кардинально изменились. Об этом свидетельствует хотя бы то обстоятельство, что он и позднее не раз скептически высказывался о возможности ее выживания в будущем. Таково, например, его письмо к Н.Ф. Даниельсону, написанное в 1893 г. Правда, тон его — не грубовато-шутливый, как в ответе Ткачеву, а доброжелательный и в то же время просветленно-эпический по отношению к предмету: «Нет такого великого исторического бедствия, которое бы не возмещалось каким-либо историческим прогрессом... Пусть же исполнится предопределенный жребий!» (9, с.483). Здесь сказались, конечно, и личные взаимоотношения, и изменившаяся политическая обстановка. И все же — откуда эта смена вех?

Это лишь видимая часть айсберга — действительно глубинных и драматических изменений. Возражая Ткачеву, опровергая Герцена, изгоняя Бакунина, вожди Интернационала противопоставляли их мифу о коммунистических инстинктах русского мужика свой собственный миф — о пролетариате. Но потому-то и приписывали они пролетариату мессианскую роль, потому-то и видели в пролетарской «социальной революции» способ вернуть человеку утраченную им человеческую сущность, что, согласно их представлениям, сами пролетарии уже сейчас, пребывая в порочном буржуазном обществе, сохранили ее незамутненной. Если буржуа, дворянин, крестьянин исчерпывается своей общественной ролью, то нищий пролетарий один лишь является многомерной личностью. Ему предстоит в недалеком будущем освободить человечество от последствий исторического грехопадения — и именно потому, что сам он свободен от греха уже сегодня.

Но кто служил Марксу прототипом, когда он создавал образ «пролетариата, штурмующего небо»? Здесь, как никогда, проявилась его зависимость от литературных образцов, в первую очередь романтических: не примечательно ли, что самые красноречивые свои суждения о пролетарских добродетелях Маркс высказывает, разбирая роман Эжена Сю «Парижские тайны»? Но не менее су-

щественно и другое: материалом для наиболее важных наблюдений и обобщений насчет «всемирно-исторической миссии рабочего класса» стали не передовые, а, напротив, отсталые группы рабочих, где в изобилии сохранились привычки и мировоззрение, унаследованные от доиндустриальной эпохи (10).

Если это обстоятельство было осознано и по достоинству оценено через много десятилетий после смерти Маркса, то другое бросалось в глаза уже в момент выхода Манифеста: даже этих пролетариев основоположник «научного социализма» обнаружил в парижских национальных мастерских. У него же на родине в сороковых-пятидесятых годах прошлого века не было и таких. Королевства и княжества Германии оставались тогда по преимуществу земледельческими странами. Что же касается рабочих (их к 1848 г. насчитывалось около миллиона), то среди них одни трудились на мануфактурах, а другие немногим отличались от средневековых ремесленников. Восстания вспыхивали на окраинах (знаменитые «силезские ткачи», восставшие в 1844 г.!). Но и спустя четыре года, когда началась мартовская революция, берлинские рабочие заявили о необходимости вернуться к цеховой системе.

Потому-то у Маркса и Энгельса уже тогда были все основания задуматься: как совместить «немецкую теорию» пролетарской революции и ее «французскую практику»? Отказаться же от немецкого приоритета они ни в коем случае не желали — и не оставили на этот счет сомнений даже на страницах Манифеста: «На Германию коммунисты обращают главное свое внимание потому, что она находится накануне буржуазной революции, потому, что она совершит этот переворот при более прогрессивных условиях европейской цивилизации вообще, чем в Англии XVII и во Франции XVIII столетия» (1, с.459).

Тут в одной лишь постановке вопроса нельзя не уловить сходства с уверениями русских народников, а впоследствии и большевиков, в том, что Россия движется к социализму своим особым путем и что сама отсталость имеет здесь свои преимущества: меньше соблазнов. Революционную Германию девятнадцатого века в этом отношении действительно можно сравнить с революционной Россией — тут тоже непросто решался вопрос о вхождении в семью «наиболее передовых народов». Поначалу существовало, правда, и существенное различие, бросавшееся в глаза: раздробленную и постоянно унижаемую Германию никак нельзя было назвать «жандармом Европы»; на европейской карте она, скорее, представляла собой «зону нестабильности».

Почему же революционная доктрина, возникшая в отсталой Германии, должна была доминировать в Интернационале? Острота этого вопроса была обусловлена, конечно, не только соперничеством Маркса с Прудоном, а затем с Бакуниным. Само марксистское учение очевидным образом восходило к немецкой философской традиции: оно унаследовало ее проблематику, ее словарь, ее универсалистские притязания. «Пролетариат» играл в марксовом построении ту же самую роль, что «государство» у Гегеля. И конфликт в рабочем движении приобретал все более драматический характер по мере того, как это государство переставало быть философской абстракцией. Пруссия разрасталась до масштабов Германии, и Международное товарищество рабочих оказывалось лицом к лицу с «Кнуто-Германской империей».

Собственно, именно это столкновение и предопределило развал Первого Интернационала, итоги его последних драматических конгрессов в Гааге (1872

А. В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

г.) и в Женеве (1873 г.), глубокий кризис марксистского движения. Вскоре, казалось бы, начинается новый его подъем: Энгельс благословляет создание Второго Интернационала. Но именно в эти годы развившееся немецкое рабочее движение и низводит марксистский миф о пролетариате до уровня приличной «идеологической» преамбулы» к реформистской реальной политике, цель которой состоит не в «человеческой эмансипации», а в улучшении условий труда, не в разрушении, а в усовершенствовании, не в «штурме неба», а в том, чтобы «внести в этот мир хоть немного справедливости». Да и сам Маркс играет в своем посмертном триумфе совершенно новую для себя роль: вопреки пресловутой «революционной фразе», он стал символом, культовой фигурой, но не учителем. Много лет спустя Н.А. Бердяев скажет: Ленин совершил октябрьскую революцию во имя Маркса, но не по Марксу. Он мог бы сказать нечто подобное и об Эрфуртской программе.

Но для судеб марксистской традиции наиболее важным были, пожалуй, даже не эти политические изменения. Главным изменением (чтобы не сказать «изменой») стало то, что П.И. Новгородцев когда-то назвал «отречением от абсолютного социализма», а П.Б. Струве — его [социализма] «обмирщением». Марксизм Маркса отнюдь не исчерпывался областью «экономики» и «политики», он «обещал человеку быть для него высшим руководством в жизни, утолить его глубочайшие чаяния, призывая к вере в будущее земное счастье и могущество объединенного человечества». Марксизм социал-демократии уже «не притязает быть всем» и «примиряется со своим относительным значением в общественном прогрессе» (12, с.233-234,246).

Никакое «обмирщение» не означает, однако, что религиозность исчезает совсем. Отмирают прежние формы; религиозное переживание обретает новый словарь. (Это хорошо сознавал сам Маркс, и лучшее подтверждение тому — его высказывания о Лютере.) Как бы далеко ни заходило приспособление марксизма к нуждам «реальной политики», полностью отказаться от идеала, от «человеческой эмансипации», от марксистского пути к спасению было затруднительно. Но именно из-за сужения марксистских притязаний, из-за сведения их к одной лишь «экономико-политической» области, потребовалась, так сказать, новая материализация духа. Государство, религия, национализм, а вместе с ними ячейка общества — семья — все это, согласно ранним марксистским пророчествам, должно было вскоре исчезнуть. Не вышло. Потому-то для «квазирелигиозных видений» (Виттфогель) и потребовалось новое подтверждение.

Выход был один: погрузить лот истории на большую глубину. Тогда-то и зазвучал старый, но по-новому откровенный мотив: *когда-то это уже был на земле*. Недоставало одного: доказательств. Вернуться в прошлое человечества надлежало научно выверенным путем. Коммунистический идеал вернулся в прошлое. Светлое будущее, предсказанное Марксом, внезапно обрело точные координаты: теперь оно получило новое название — первобытное общество. В 1884 г. выходит в свет книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Комментатор Маркса обращается к исследованиям Л. Г. Моргана, американского юриста, умершего за три года до выхода в свет этого марксистского «Потерянного рая». Нет необходимости специально объяснять, что Морган, всю свою жизнь посвятивший изучению ирокезов, был бесконечно далек от европейского социализма. Но Энгельс воздает ему высшую, по марксистским меркам, хвалу: «Морган, — признает он, — в Америке по своему открыл материалистическое понимание истории, открытое Марксом сорок лет тому назад» (9, с. 160).

Благодаря Моргану Энгельс находит у индейцев то, чего уж не чаял найти в Европе, — труд без частной собственности, любовь без моногамии, общество без государства, архаику без патриархальной косности. Сопоставляя и компилируя, он легко обнаруживает ирокезские добродетели на Балканах и на Апеннингах. Только «рабовладение» взрывает изнутри «родовое общество» и кладет начало «историческому грехопадению». Потому-то и исчезает грозный призрак азиатского способа производства: древность теперь — источник не страха, а вдохновения. Даже новое издание Коммунистического манифеста (в 1888 г.) Энгельс считает необходимым дополнить многозначительным примечанием. Основополагающее утверждение марксизма — «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов» — воспроизводит с оговоркой: «вся история, дошедшая до нас в письменных источниках» (8, с.8-9).

Почему же о родовом обществе не заходила речь раньше? Энгельс в том же примечании называет причину: «В 1847 году... общественная организация, предшествовавшая всей писаной истории, почти совсем еще не была известна. За истекшее с тех пор время Гакстгаузен открыл общинную собственность на землю в России, Маурер доказал, что она была общественной основой, послужившей исходным пунктом исторического развития всех германских племен, и постепенно выяснилось, что сельская община с общим владением землей является или являлась в прошлом повсюду первобытной формой общества... Внутренняя организация этого первобытного коммунистического общества... была выяснена Морганом» (8, с.9).

Вспомним, однако, как Энгельс отзывался и об общине, и о Гакстгаузене тринадцатью годами раньше. Что касается самой крестьянской общины и ее распространения, то здесь не только его представления не изменились, но даже выражения он использует в точности те же, что и при критике Ткачева: неизменное «от Индии до Ирландии». Но теперь она уже не просто примета «низкой ступени развития», но ключ к будущему. Энгельс указывает на это недвусмысленно, заканчивая свою книгу о родовом строе словами Л.Г. Моргана: «Демократия в управлении, братство внутри общества, равенство прав, всеобщее образование освятят следующую, высшую ступень общества... Оно будет возрождением — но в высшей форме — свободы, равенства и братства древних родов» (9, с.310).

Теперь и русская община предстала перед теоретиком социализма в новом свете. А вместе с ней — все незападное и «докапиталистическое». Эта переоценка не повлияла на «реальную политику»: отношение социал-демократов Второго Интернационала к тем, кто не входил в «семью передовых народов», еще долго оставалось вполне европоцентристским. В иной ситуации оказались большевики.

Не в пример другим предложениям, которые Ленин высказывал в своих последних письмах, его устремление на восток нашло у его наследников полную поддержку.

Вот что говорил в 1923 г. Г.И. Зиновьев, возвратившийся из Гамбурга, где он незадолго до этого выступал с шестичасовой речью на съезде объединенных социал-демократов (его слова тем более примечательны, что были сказаны на специальном совещании, посвященном делу Султан-Галиева, обвиненного в национализме и пантюркизме): «Тяжелый инцидент с Султан-Галиевым ни в коем случае не должно использовать для того, чтобы ревизовать самую линию XII съезда... Мы видим уже, по-моему, совершенно ясно нашу дорогу на Восток. Это совещание нам осветило многое из того, что до сих пор было видно не столь конкретно, и в этом его громадное значение. Тупицы, называющие себя социал-

А.В. ПИМЕНОВ
Дряхлый Восток и светлое будущее

демократами, которые имели недавно свой объединенный съезд в Гамбурге, умеют только посмеиваться над «туркестанцами». «Туркестанец» для них насмешливое прозвище, а уже о «калмыках» говорить нечего. Но на то эти с.-д. и агенты буржуазии, чтобы не видеть, какое великое значение имеет то движение на Востоке — со всеми его минусами и теневыми сторонами. Они закрывают уши, чтобы не слышать, и глаза, чтобы не видеть, какое великое движение было поднято все же нашей революцией за эти годы на Востоке» (3, с.222).

Конечно, в большевистских планах «туркестанцам» отводилась подчиненная роль. На этот счет с неподражаемой откровенностью высказался Н.И. Бухарин на том самом XII съезде, линию которого не желал подвергать ревизии Г.Е. Зиновьев: «Если Коминтерн, если наша партия не усвоят себе, не зарубят себе на носу, что они должны сделать решительно все, что они должны сделать, дабы эта пехота вводилась в бой под нашим руководством, мы сделаем политическую ошибку мирового значения» (4, с.33).

В последующие годы политическая обстановка на Востоке менялась не раз. Вместе с ней менялись и акценты — в самой восточной политике большевиков, и в ее идеологическом обеспечении. Сталин обычно демонстрировал сдержанность и в том, и в другом. Он твердо следовал одному принципу: пехота идет в бой под только нашим руководством. «Не может быть сомнения, — пояснял он, — что только советы могут спасти Китай от окончательного развала и обнищания... Что касается Индии, Индо-Китая, Индонезии, Африки и т.д, то нарастание революционного движения в этих странах, принимающее порой формы национальной войны за освобождение, не подлежит никакому сомнению» (15, с.355).

Если же сомнения появлялись, то такое «пробуждение Востока» рассматривалось как пособничество Западу. Сталин сам давал пример такого истолкования: «Господа буржуа рассчитывают залить эти страны кровью и опереться на полицейские штыки, призвав на помощь людей вроде Ганди» (15, с.355).

Советские установки относительно «пробуждающегося Востока» подчинялись, однако, довольно строгой, хотя, вероятно, не до конца сознаваемой логике. «Людей вроде Ганди» клеймили предателями и пособниками империализма; но это диктовалось скорее законами коммунистической пропаганды, чем нуждами восточной политики. Потому-то и клеймо сохранялось лишь до тех пор, пока сохранял свое значение тезис о советской исключительности. Строго говоря, он никогда не терял его, но спустя двадцать два года после сталинских слов о Ганди и полицейских штыках «принудительная сила» этой доктрины резко ослабевает. Тому способствуют два обстоятельства: оттепель и новое измерение «дружбы народов»: поиски союзников в освободившихся странах.

Тут-то и потребовалась широта взгляда. И в 1956 г. происходит почти символическое событие: виднейшие официозные востоковеды Советского Союза публикуют «письма в редакции», в которых повторяется призыв: незамедлительно пересмотреть советскую точку зрения на Махатму Ганди.

Это и было сделано с достойной внимания оперативностью: учтены «специфические условия Индии», пересмотрена роль «национальной буржуазии», извлечена из забвения переписка Ганди с Л.Н. Толстым. Произошли очевидные и довольно, по тем временам, значительные идеологические «подвижки». Менее известно другое: они распространились и на святая святых марксистско-ленинского понимания общества — «производственные отношения». Переоценке под-

верглась не только доктрина ненасилия и подобные ей учения, но также традиционная сельская экономика. Позитивное и сочувственное отношение к «докапиталистическим» обществам, в частности, к сохранившимся в них формам собственности — все это легко обнаружить и в установках многих восточных компартий, и в официозном советском востоковедении. «Отсталость» не отменяет здесь главного достоинства: если нельзя напрямую говорить о «социализме», то теперь на этот случай существовала более осторожная формулировка: «некапиталистический путь развития».

«Кооперативы деревенских трудящихся, свободные с точки зрения своих внутренних отношений от капиталистической эксплуатации, занимают особое место при капиталистической ориентации. В них, говоря словами К. Маркса, «уничтожается противоположность между капиталом и трудом»... Они... образуют некапиталистический элемент капиталистически ориентированной системы производства... Их наиболее зрелое ядро — производственная кооперация — образует, по определению руководства компартии Индии, «модель будущей организации сельского хозяйства» (причем «такую кооперацию необходимо охранять мощным массовым движением, иначе она будет захлестнута волнами капиталистической стихии...») (16, с.11).

Это было сдержанным, но красноречивым признанием родства.

Как же относился к этому родству «критический марксист» Виттфогель? Да, в сущности, именно так, как и должен был отнестись к нему марксист, отказавшийся от марксистских мифов, но сохранивший «методологию». Для него решающей и неразрешимой стала дилемма: аграрное общество и индустриальное, асп и пятилетка, восточный деспотизм и...

Но, в самом деле, что же материализовалось из «квазирелигиозных социалистических предсказаний? Отвергнув тезис об азиатчине, Виттфогель не более высоко оценивает и другие версии: «Это новое аппаратное общество называли и «неофеодализмом», и «государственным капитализмом». Оба эти определения неправомерны. В высшей степени централизованную политическую систему, которую мы знаем, нельзя назвать «феодализмом». Еще менее правильным обозначением для экономического строя, исключающего частную собственность на средства производства, равно как и открытый рынок товаров и труда, будет «государственный капитализм» (3, с.545).

Но взамен Виттфогель, как ни странно, не предлагает ничего. Его отношение к «реальному социализму» так и остается памфлетным — как и его отношение к марксистско-ленинскому «замалчиванию» исторической правды. Но между тем и другим существовало важное различие: можно было ловить советских идеологов на противоречиях и подтасовках, но усомниться в реальности коммунистического господства было затруднительно. Его требовалось не опровергнуть, а понять. Конечно, и помимо Виттфогеля такого рода попытки предпринимались не однажды — с самого семнадцатого года. И связаны эти попытки были с именами совершенно не похожих друг на друга людей — от А. Амфитеатрова до М. Джиласа. Но всех сближало одно: Советскую Россию они всегда описывали только как новый необычный тип общества и никогда как стадию исторического развития. В такой перспективе ее рассматривали лишь сами большевики.

Виттфогель, однако, не мог избежать такой постановки вопроса. Проблема формаций как стадий — одна из центральных в его труде о восточном деспотизме. Но очевидна и его позиция: доказывая порочность тоталитаризма «в любой мас-

А.В. ПИМЕНОВ

Дряхлый Восток и светлое будущее

ке», Виттфогель, даже говоря о прошлом, не может признать его неизбежность. Поэтому более всего он стремится сокрушить марксистско-советское учение о формациях даже не из-за замалчивания асп, а из-за однолинейного понимания истории. Его же любимая идея — множественность исторических путей, «многолинейность» (Viellinigkeit). Азиатчина—это особый путь, один из многих. Асп складывается в определенных, специфических условиях. Сама природа, казалось бы, положила незыблемые пределы его распространению. Он же преодолел сначала эти границы; а затем и другие: оказалось, что и машинное производство ему не помеха.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Семенов Ю.И. Россия: что с ней случилось в двадцатом веке // Российский этнограф. М., 1993.
2. Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т.45.М.,1978.
3. Wittfogel K. Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Koln/Berlin, 1962.
4. Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 21. М, 1978.
5. Люкс Л. Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизападничества в России и Германии // Вопросы философии. 1996. № 3.
- 6.Валентинов Н.В. Наследники Ленина / Редактор-составитель Ю.Г. Фельштинский. М., «Тerra», 1991.
- 7.Золотое перо. М., 1974.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 1. М., 1958.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 2. М., 1958.
10. Ср.: Walle. Marx's Proletariat. The Making of a Myth.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Поли. собр. соч. Т. 4. М.,1958.
12. Новгородцев П. Введение в философию права. III. Об общественном идеале. Киев, 1919.
13. Тайны национальной политики ЦК РКП. Стенографический отчет секретного IV совещания ЦК РКП, 1923 г.
14. Двенадцатый съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. М., 1968.
- 15.Сталин И. Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду. Вопросы ленинизма. Партиздат ЦК ВКП(б), 1934.
16. Государство и аграрная эволюция в развивающихся странах Азии и Африки. М., Наука, 1980.